



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Дмитрий Травин

У истоков модернизации:
Россия на европейском
фоне (доклад третий)

Препринт М-38/14

Центр исследований
модернизации



Санкт-Петербург
2014

УДК 327(470)
ББК 66.4(2Рос)
Т 65

Травин Д. Я.

Т 65 У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад третий) / Дмитрий Травин : Препринт М-38/14. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 36 с. — (Серия препринтов; М-38/14; Центр исследований модернизации).

Доклад является продолжением сделанного в 2013 году доклада Д. Травина «У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй)» (препринт М-31/13). Автор анализирует вопрос о том, можно ли вслед за американским историком Ричардом Пайпсом трактовать Россию в качестве так называемого вотчинного государства. В частности, рассматривается проблема пределов монархической власти в России и в различных европейских государствах. Вывод доклада состоит в том, что, несмотря на значительные различия в представлениях об ограничении монархического произвола, существовавшие в разных странах, Россия не может рассматриваться как вотчинное государство, в котором царь обращается со страной как со своей собственностью.

Информация об авторе: Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации (ЕУСПб); dtravin61@mail.ru.

В предыдущем докладе — препринт М-31/13 «У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй)» — подробно говорилось, в частности, о том, как нарушались права собственности практически во всех европейских странах в Средние века и в начале Нового времени. Мы солидаризируемся с мнением ученых, полагающих, что в Европе до определенного времени вообще нельзя было говорить о собственности в современном понимании этого слова.

Крупнейший французский историк-медиевист Жак Ле Гофф в свое время отмечал: «Собственность как материальная или психологическая реальность была почти неизвестная в Средние века. От крестьянина до сеньора каждый индивид, каждая семья имели лишь более или менее широкие права условной, временной собственности, узупрукта. Каждый человек не только имел над собой господина или кого-то, обладающего более мощным правом, кто мог насильно лишить его земли, но и само право признавало за сеньором легальную возможность отнять у серва или васала его земельное имущество при условии предоставления ему эквивалента, подчас очень удаленного от изъятого» [Ле Гофф (1992), с. 126–127].

Американский исследователь права Гарольд Берман со своей стороны отмечал, что в Средние века «фактически земля не была ничьей собственностью, ее “держали” в иерархии “держаний”, ведущей вверх к королю или к другому высшему сеньору» [Берман (1998), с. 296]. Российский ученый и реформатор Егор Гайдар писал об этом же: «Частной собственности на землю в римском или современном смысле этого слова в Средние века нет и быть не может. Землю считают своей, имеют на нее пересекающиеся права и король, и граф, и рыцарь, и община, и крестьяне» [Гайдар (2009), с. 196].

Изложенные в препринте М-31/13 факты обосновывают тезис о том, что не существует стран и народов, изначально склонных к успешной модернизации. Иначе говоря, не существует тех, кто по природе своей обеспечивает нормальное институциональное развитие. Формирование институтов, стимулирующих модернизацию, представляет собой сравнительно позднее явление. Это само по себе есть следствие социально-политического развития.

Тем не менее, для того чтобы корректно проанализировать данную проблему, нам необходимо затронуть еще один ее аспект. Многочисленные примеры того, как нарушались права собственности в различных европейских странах, ставят перед нами следующий вопрос: были ли осуществлявшиеся государством конфискации чужого имущества сложившейся в те времена нормой или все же весьма распространенным отклонением от нормы? Иначе говоря, мог ли государь спокойно изымать в свою пользу чужое, поскольку стоял над законом, или же изъятия представляли собой нарушение закона и общество должно было подобные самоуправные действия осуждать? В расширенном плане данный вопрос звучит так: как вообще мы можем понять, что представлял собой закон в те времена, когда не существовало современной практики разделения властей, когда не было конституционного суда, способного вынести вердикт относительно того или иного решения государя, и когда право в значительной степени строилось на традиции, на обычае, а не на четко прописанных нормах, сведенных в толстые фолианты разнообразных кодексов?

Теория «вотчинного государства»

Один из возможных подходов к решению данного вопроса изложен в широко распространенной концепции американского историка Ричарда Пайпса. Он стремился ответить на вопрос: «почему в России в отличие от остальной Европы [...] общество оказалось не в состоянии стеснить политическую власть какими-либо серьезными ограничениями» [Пайпс (2004), с. 9], и сделал это настолько убедительно для многих, что оказался очень популярен в широких российских интеллектуальных кругах. Многие читатели смотрят на российскую историю глазами Р. Пайпса, поскольку ему удалось дать сравнительно краткое, простое и понятное объяснение наших «бесконечных» бедствий.

Р. Пайпс пришел к выводу, что в России в отличие от остальных европейских стран все государство представляло собой (во всяком случае, между XII и XVII веками) вотчину царя, т. е. его собственность [Пайпс

(2004), с. 42]. Соответственно, очень долго не могла возникнуть частная собственность как таковая. Сформировалось общество абсолютно зависимых от государства людей. Монарх был волен распоряжаться их жизнью и судьбами, не говоря уже об имуществе. В такой стране, естественно, не имелось реальных условий для того, чтобы стеснить политическую власть.

Вывод Р. Пайпса о влиянии собственности на свободу абсолютно верен. Однако трудно согласиться с абсолютизацией тезиса о том, что в остальной Европе в отличие от России настоящая частная собственность имела уже тогда, когда у нас формировалось вотчинное государство. Если бы это было так, то европейская демократия не должна была проходить столь долгий, мучительный путь становления через средневековый произвол, конфискации эпохи реформации, якобинский террор, нацистские концлагеря, а возникла бы сразу в совершенном виде. На самом деле современная частная собственность — это продукт модернизации. Средние века, как справедливо отмечал Ж. Ле Гофф, ее не знали.

Сам Р. Пайпс приводит ряд примеров грубейших нарушений прав собственности европейскими монархами в Средние века и в Новое время. Но с удивительной для серьезного ученого непоследовательностью на следующей странице своей книги пишет, что монархи «не смели покушаться на имущество своих подданных, потому что принцип частной собственности укоренился так глубоко, что любое на него посягательство наверняка вызвало бы насильственное сопротивление, а то и революцию» [Пайпс (2000), с. 151–152].

В реальности сопротивление монарху действительно иногда возникало, однако в конечном счете его успех зависел от соотношения сил различных групп интересов. В подавляющем большинстве случаев имущество изымалось у сравнительно слабых групп, а потому подобная практика поддерживалась сильными группами, причем со значительным энтузиазмом. Так происходило в различных европейских государствах. Похожим образом дело обстояло и на Руси. Например, во времена опричнины.

Стремясь подчеркнуть уважение к собственности, характерное для ряда стран Европы в отличие от России, автор теории «вотчинного государства» приводит целый ряд цитат из трудов мыслителей прошлого [Пайпс (2008), с. 19]. Однако сам факт многочисленных дискуссий о частной собственности на Западе доказывает, что неприкосновенность прав собственника была спорной (точно так же на Руси спорили, к примеру, о неприкосновенности имущества церкви). Если бы частная собственность при любых обстоятельствах оставалась неприкосновенна, никто не стал бы убеждать оппонентов в этих «очевидных» вещах.

Теория «вотчинного государства» плохо стыкуется с фактами, причем не столько российскими, сколько зарубежными. Многочисленные примеры нарушения прав собственности в различных странах ранее нами уже приводились (препринт М-31/13). Пожалуй, спасти концепцию Р. Пайпса можно было бы лишь в том случае, если бы удалось показать, что само представление о законе на Руси предполагало произвол со стороны царя, тогда как в других европейских странах изъятие чужой собственности рассматривалось обществом как беззаконие. Иначе говоря, можно ли сказать, что для Руси закон — это воля монарха, тогда как для всех остальных европейских стран — это нечто, стоящее над монархом? Именно анализу данной проблемы посвящен предлагаемый доклад.

Кто прав, кто виноват?

Для начала следует отметить, что чем глубже погружаешься в историю, тем более неопределенной вещью выглядит закон. Рассматривая многочисленные проблемы, связанные с применением закона в Европе далекого прошлого, мы должны исходить из того, что право исторически формировалось, если можно так выразиться, не сверху вниз, а снизу вверх. Нельзя сказать, что где-то в столице в некотором царстве, некотором государстве по воле народа или по приказу короля собрались вдруг для принятия закона какие-то умные люди и установили нормы поведения, обязательные для исполнения по всей стране. Примерно до середины XII века законотворческая практика была совершенно иной. Большая часть правовых норм в различных странах Запада представляла собой обычное право. «Это означало, — как разъяснял Г. Берман, — что большинство правовых норм носили обязательный характер не в силу того, что они были порождены политической властью, церковной или светской, а в силу того, что они на практике применялись тем сообществом, где были распространены. Законодательно установленные законы встречались довольно редко. И даже будучи законодательно установленными, правовые нормы все равно, как правило, обособывались существующим обычаем» [Берман (1998), с. 148].

С точки зрения человека, живущего в современном централизованном европейском государстве, подобная практика выглядит несколько странно, однако государство раннего Средневековья не походило на наше современное. Политический центр не имел сил и желания навязывать свою волю законодателям на местах. Если у людей сложились определенные правовые традиции и они худо-бедно с их помощью находили возможность организовать мирное сосуществование несмотря на желание каждого пере-

грызть плотку соседа, то с какой стати король, условно контролирующей данную территорию, будет совать свой нос в решение вопроса и так уже разрешенного? Королю важно иметь крепкое, эффективное войско, а вовсе не реформировать правосудие.

Впрочем, в долгосрочной перспективе централизация, наверное, способствовала укреплению государственной военной мощи, а потому со временем правовая традиция стала трансформироваться. Однако даже процесс трансформации шел, скорее, снизу вверх, чем сверху вниз.

Во-первых, примерно в 1080 году был вдруг обнаружен свод законов императора Юстиниана. Выяснилось, что великая империя, сравняться с которой по силе и могуществу стремились средневековые монархи, решала правовые вопросы не совсем так, как принято у «варваров». Это, по всей видимости, сформировало почву для серьезных размышлений. Как отмечал Г. Берман, «открытие свода Юстиниана было воспринято в том же духе, как было бы воспринято нахождение давно утраченного списка приложения к Ветхому завету» [Берман (1998), с. 127]. Стало ясно, что право — это не только то, чем занимаются на местах «варвары» в согласии с традицией, а еще и то, чем следует заниматься хорошо образованным людям с помощью старых книг. В частности, юрист Ирнерий стал преподавать право в Болонье где-то около 1087 года.

Во-вторых, как выяснилось, некоторые укоренившиеся на местах обычаи плохо соответствовали христианским нормам поведения, принципам разума и совести. Ученые монахи обратили внимание на это безобразие и стали подгонять обычное право под заветы Иисуса Христа. Г. Берман в этой связи обращал внимание на роль болонского монаха Грациана, который творил около 1140 года, и на деятельность его коллег канонистов [Берман (1998), с. 148]. Не случайно именно в Болонье сложилась в итоге самая сильная европейская правовая школа, заложившая основы знаменитого университета.

В-третьих, на базе воскрешаемого римского права и активно разрабатываемого права канонического постепенно трансформировалась юридическая традиция. Судить стали не только по нормам, завещанным предками, но также с учетом кодекса Юстиниана и христианского представления о справедливости. «В XII–XIII столетиях [...] впервые короли Европы начали регулярно издавать законы и обосновывать законодательство не просто как фиксацию древних обычаев или как крайние меры в чрезвычайных ситуациях, а как нормальное осуществление королевских функций [Берман (1998), с. 379]. Однако процесс трансформации правовых норм, естественно, был длительным. Вряд ли можно сказать, что до такого-то года право шло снизу, а затем вдруг пошло сверху. Поэтому, принимая во вни-

мание сложный механизм формирования права, мы вряд ли можем говорить об однозначном придумывании, изобретении новых законов. Укоренившиеся в обществе представления о должном можно было лишь в большей или меньшей степени трансформировать в зависимости от силы конкретного монарха и его желания навязать свою волю ради централизации страны и унификации поведения подданных.

Только с учетом данных методологических моментов мы можем анализировать интересующий нас вопрос и ставить на обсуждение разные проблемы.

Первый комплекс проблем, возникающих в средневековом обществе и влияющих на имущественные отношения, определяется неясностью самого вопроса о том, кто имеет право определять правила игры. Для примера рассмотрим ситуацию, возникшую в XII столетии во французском городе Амьен. Современное понимание права предполагает существование единого для всей страны кодекса, который граждане обязаны соблюдать как в одном городе, так и в другом. Однако Средневековье существовало в ином измерении.

В Амьене власть принадлежала двум феодальным сеньорам: епископу и графу. Власть графа простиралась над всем городом и его землей; власть епископа имела силу только на церковных землях как внутри города, так и за его пределами. При этом часть предместий, от городской стены до реки Соммы, принадлежала королю, вследствие чего жители этого предместья были подсудны не графу, а королевскому кастеляну, жившему по соседству в замке. Кроме того, некоторые судебные права в городе имел еще светский наместник епископа — викарий [Смирнов (2012), с. 53].

Нетрудно догадаться, что в этой запутанной ситуации права четырех сеньоров, скорее всего, вступали между собой в противоречие. Особенно по мере того, как город богател и приобретал возможность платить солидную ренту. Но еще больше правовая ситуация должна была осложниться после того, как городская коммуна попыталась освободиться от власти графа. Казалось бы, налицо правонарушение, и королевская власть, ответственная за порядок в стране, должна была его пресечь. Однако не тут-то было. Людовик VI Толстый совершенно не был заинтересован отстаивать интересы графа, он предпочитал свои собственные. Горожане собрали известную сумму денег для передачи взятки монарху. Посредническую роль сыграл в этой истории епископ, который сам постоянно страдал от деспотизма графа и надеялся в этой ситуации укрепить свои собственные права. В итоге монарх утвердил Амьенскую коммуна. А викарий дал на это согласие с условием гарантии некоторых своих прав и уплаты значительной суммы денег наличными [Смирнов (2012), с. 55].

Таким образом, граф, который вчера еще обладал наибольшими правами в Амьене, внезапно оказался у разбитого корыта. Для нас кажется естественным, что законопослушный граф должен обязательно подчиниться королю. Но ведь для человека той эпохи закон — это (как отмечалось выше) в значительной мере традиция. Если граф всегда (или долгое время) обладал правами на город, то какое право имеет король (да еще за взятку!) пересматривать утвердившийся обычай? Не является ли монарх в данном случае правонарушителем?

В общем, граф не подчинился королю и решил бороться за свои права, на что, по-видимому, имел солидные основания. Но самое парадоксальное в этой истории то, что союзником графа в борьбе с королем, епископом и городом внезапно оказался королевский кастелян, действующий независимо от своего сюзерена. Формально он представлял в Амьене лишь интересы короля, но можно догадаться, что «при исполнении» он имел определенную выгоду и не хотел с ней расставаться из-за того, что сюзерен получил вдруг взятку через иные руки, забыв о посреднических интересах своего ставленника.

Мы видим, что права различных сторон вступили здесь в неразрешимое противоречие и дальше говорить о законности происходящего уже трудно. Попутно заметим еще, что всю эту историю абсолютно невозможно трактовать в привычных нам марксистских понятиях о классовой борьбе. Борьба здесь была какая угодно, но только не классовая.

Дальше — больше. Несмотря на то, что король наделил правами город, сила, естественно, оказалась на стороне графа. Тогда Амьен дал взятку его сыну, обладавшему собственными вооруженными силами, и тот с радостью выступил против родного отца. Казалось бы, коммунальная революция получила шанс на победу, но тут граф в свою очередь подкупил сына, после чего добрый молодец стал разорять земли епископа и окрестности города.

К несчастью, как выяснилось, он занимался «коммунальным бизнесом» не в первый раз. Перед этим графский отпрыск уже «коммунизировал» город Лан за соответствующую плату. Епископ донес королю о творящихся безобразиях, и Людовик Толстый наконец взялся за наведение порядка. Мятежный граф был разбит и вообще лишен прав на графство Амьенское, а новый — предпочел заключить договор с коммуной. Забавно, что мятежный кастелян при этом вообще не пострадал [Смирнов (2012), с. 57–58]. История завершилась наведением некоторого порядка и созданием условий для развития города, однако торжеством закона все это вряд ли можно назвать, поскольку права графа явно оказались ущемлены уже после того, как король за взятку утвердил коммуны.

По сути дела, восторжествовало не право, а сила. Во многих других случаях (особенно при слабости монарха) феодалы сохраняли свои права, и тогда эта ситуация вступала в противоречие с нормальным ходом экономического развития. А в случае с городом Ланом королевская власть поддерживала то коммуну, то ее противников в зависимости от того, кто оплачивал поддержку. Делалось это вообще вне всякой связи с законом [Тьерри (2011), с. 55–105].

Второй комплекс проблем, влияющих на имущественные отношения, связан с отсутствием у государя возможностей доводить до отдаленных мест свою волю с помощью бюрократического аппарата. Когда мы размышляем о том, как творился или нарушался закон в Средние века и в начале Нового времени, надо иметь в виду, что государство той эпохи совершенно не походило на современное государство. Часто решение, принятое в центре, невозможно было привести к исполнению на окраинах. Более того, такого рода решения, скорее всего, во многих случаях не принимались и передоверялись местным властям именно потому, что при отсутствии эффективной бюрократии они были совершенно бесполезными.

В этом смысле возможность государя творить закон находилась в прямой зависимости от размеров государственного аппарата и в обратной зависимости от размеров державы. Можно предположить такую, на первый взгляд, парадоксальную вещь. В Московском государстве, простиравшемся на огромные расстояния, при слабой и откровенно коррумпированной бюрократии подавляющее большинство решений, влияющих на купцов, ремесленников, крестьян и в целом на производство и торговлю, вообще от царя никак не зависели. Эти решения принимались на местах и определялись произволом местного администратора с поправкой на его склонность к мздоимству. И самое главное — с поправкой на установившуюся традицию, нарушение которой могло вызвать не государев гнев, а социальный взрыв, объективно являвшийся жестким ограничителем возможного произвола.

Иными словами, царь не мог ни творить, ни нарушать закон, поскольку находился очень далеко и вряд ли вообще интересовался судьбой какого-нибудь крестьянина Петра или купца Василия в отдаленной глубинке. Для этих людей реальным описанием правовой ситуации, скорее всего, могло бы стать известное современное выражение «закон — тайга, прокурор — медведь».

Выдающийся русский историк Василий Ключевский следующим образом охарактеризовал систему кормлений, на которой строилась административная деятельность. «Кормление — не вознаграждение за правительственный труд, а награда за службу, придворную и военную, какая лежала

на служилом человеке и отправлялась безвозмездно: управление городом или волостью не считалось службой. Такая награда была одним из средств содержания служилого человека и отличалась от должностного жалования в нашем смысле тем, что получалось прямо с населения, которым правил кормленщик, а не выдавалась из общих доходов государственной казны» [Ключевский (1987 т. 2), с. 315].

Подобный характер административной деятельности, при котором регион фактически полностью отдается в ведение кормленщика, на наш взгляд довольно откровенно говорит о том, что высшая власть не стремилась вмешиваться в отношения между народом и властью местной. Хотя формально «кормы рождественский и другие праздничные точно определялись грамотами уставными, какие давались целым округам, или жалованными — отдельным кормленщикам на жалуемые им в кормление округа» [Ключевский (1987, т. 2), с. 314], на практике вряд ли можно было из центра проверять строгое соответствие appetитов кормленщика установленным нормам. Кормленщик был, если можно так выразиться, исполняющим обязанности царя в своем регионе со всеми вытекающими отсюда последствиями. По аналогии с испанской империей, где для крупных территорий использовался довольно точный термин «вице-король», наших многочисленных администраторов на местах, наверное, можно было бы назвать маленькими «вице-царьками».

Если мы интересуемся практическими вопросами развития хозяйства и возможностями для осуществления модернизации, то вряд ли имеет смысл ссылаться, скажем, на царский произвол времен опричнины. Эта история касалась аристократии и была, бесспорно, весьма значимой в смысле определения дальнейших политических судеб державы. Однако все то, что современные экономисты определяют в качестве благоприятного (или неблагоприятного) хозяйственного климата, к подобным верхушечным историям отношения не имело. Простор для развития бизнеса (если можно так выразиться) в рядовом русском городке определялся не тем, как решил царь поступить с боярином в столице, а тем, насколько местный кормленщик оказался удовлетворен дарами подвластного населения. Думается, что положение дел было весьма сходно с картиной, описанной применительно к XIX веку Гоголем в «Ревизоре», с поправкой на то, что в XV–XVI веках никаких ревизоров, опасных для городничего, быть не могло.

Третий комплекс проблем, определяющих имущественные отношения, связан с тем, что часто отсутствует техническая возможность определить, имело ли место нарушение договорных обязательств той или иной стороной. Кроме того, сами эти обязательства различные стороны трактуют по-

разному. В результате сильная сторона может отнимать имущество у слабой, трактуя это формально как соблюдение, а вовсе не нарушение закона.

Разъясним данный казус подробнее. В основе феодальных отношений находился договор между сеньором и вассалом. Государь являлся высшим сеньором на феодальной лестнице, но также вступал в договорную систему отношений. Он предоставлял вассалам землю за службу и мог требовать от них лишь то, что предполагалось в соответствии с договором.

Подобные отношения должны были порождать множество недоразумений. Государь мог в определенных ситуациях считать, будто вассал нарушил свои обязательства и заслуживает наказания, в том числе изъятия имущества. А вассал при этом мог полагать, что сеньор относится к нему несправедливо, а значит, не имеет права на изъятие.

Такого рода расхождения во взглядах могли касаться, например, тех случаев, когда вассал должен был оказать поддержку своему сеньору на войне. Характер боевых действий требует, как правило, единоначалия. Государь для успешного ведения войны хотел, чтобы армия находилась в его распоряжении все то время, пока идут боевые действия. Однако вассальный договор оговаривал службу в течение определенного фиксированного промежутка времени. Получалось, что вассал формально имел право увести своих людей домой в тот момент, когда победа еще не достигнута. При этом понятно, что спланировать длительность войны в соответствии с пунктами вассального договора было абсолютно невозможно. Реальные жизненные обстоятельства не вписывались ни в какие формальные положения, зафиксированные на бумаге. Можно ли счесть договор не выполненным со стороны вассала, если он, руководствуясь буквой, а не духом, ушел с поля битвы в самый напряженный момент и обрек сеньора на поражение?

То же самое относится к объему помощи, предоставляемой вассалом. В нужный момент он может по объективным обстоятельствам не иметь достаточных сил для оказания поддержки сеньору: голод, эпидемии, междоусобицы, самоуправство его собственных вассалов и многие другие обстоятельства способны лишить людских и материальных ресурсов в самый неподходящий момент. Никакой технической возможности проверить объективный характер проблем не существовало, поскольку не имелось даже достаточного бюрократического аппарата (заметим попутно, что сама необходимость феодализации общества во многом была обусловлена отсутствием бюрократии, способной четко осуществлять административное управление сверху вниз). И возникал, соответственно, вопрос: сочтет ли государь, не получивший от вассала своевременной помощи, все эти обстоятельства оправдывающими невыполнение договора или захочет жестоко покарать строптивца за неверность?

Третьей судьбы в этих отношениях не было. Вердикт о том, как поступить с «ослушником» и его имуществом в любом случае приходилось выносить государю. Он мог «казнить и миловать». Если «казнил», то следует ли нам сегодня считать, что это делалось по закону? У пострадавшего могло быть свое мнение, не совпадающее с «официальным» и основанное на том, как местная традиция решала вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда пострадавший мог заявить о нарушении закона государем, не выполняющим своих обязательств по отношению к вассалу.

В Средние века существовал даже специальный юридический термин, посредством которого обозначался торжественный жест отказа от выполнения договора одной из сторон — *diffidatio*. По оценке Г. Бермана, появление *diffidatio* ознаменовало собой переломный момент в политическом, социальном и правовом развитии Европы. «Вся идея права на сопротивление, — отмечал данный автор, — уже заключена в этом понятии договора между правителем и управляемым, между высшим и низшим» [Берман (1998), с. 291].

Таким образом, пытаясь подойти к вопросу о роли закона в прошлом, нам следует в первую очередь постараться избежать анахронизма и не переносить на давно ушедшие века привычные современные представления о функционировании государства. Нынешнее государство — совсем иное.

Два тела короля

Размышляя о власти и законе, мыслители Средневековья и раннего Нового времени должны были разрешать проблемы, основываясь на Священном Писании, на сложившихся в данной стране традициях, на известных им нормах римского права, а также на рациональных соображениях, т. е. на здравом смысле. Вопрос о том, что говорили юристы Средних веков, был основательно проанализирован в классическом труде немецкого историка Эрнста Канторовича «Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии».

С точки зрения современного человека, проблема оказалась чрезвычайно запутанной. Как отмечал Э. Канторович, один из ведущих средневековых мыслителей-правоведов Иоанн Солсберийский «попытался сделать то, что нам может показаться внутренне противоречивым или же попыткой решить задачу о квадратуре круга: он приписал своему государю одновременно и абсолютную власть, и абсолютное же ограничение его законом» [Канторович (2014), с. 172].

Разъясняется эта путаница следующим образом. Согласно римскому праву, государь является общественным лицом (*persona publica*). Поэтому

его воля имеет силу закона. Соответственно, государь в своих действиях не может быть связан никакими законами. Однако предполагается, что он не будет их нарушать, поскольку обладает врожденным чувством справедливости. Монарх, как полагает Иоанн Солсберийский, всегда действует в интересах *res publica*, а не в своих частных корыстных интересах. Например, в качестве судьи он может проливать кровь подданных, но при этом на нем не будет никакой вины, поскольку он творит суд в интересах общего блага [Канторович (2014), с. 173].

В логику современного правового государства такой подход совершенно не вписывается, поскольку это государство светское. Однако представления о мире человека XII века, когда жил Иоанн Солсберийский, формировались иным образом, чем наши сегодняшние. Человек далекого прошлого не мыслил своего существования вне постоянного божественного вмешательства. Средневековый менталитет не предполагал наличия конституционного суда, зато предполагал, что трудные государственные вопросы так или иначе разрешаются непосредственно с помощью Господа. «Возможно, правильнее будет сказать, — отмечал Э. Канторович, — что государь Иоанна Солсберийского не является человеческим существом в привычном понимании. Он “совершенен”, если, конечно, он государь, а не тиран. [...] Правит не государь, но правосудие правит посредством государя или в государе, являющемся одновременно и орудием правосудия и *lex animata* — одушевленным законом» [Канторович (2014), с. 174].

Фактически позиция Иоанна Солсберийского легитимирует любой произвол, осуществляющийся монархом под видом божественного правосудия. Однако при этом она оставляет лазейку, с помощью которой общество все-таки может на него воздействовать. Если объявить плохого государя тираном, «правосудие», им якобы осуществляемое, мигом превратится в произвол, который можно пресекать без опасения покуситься на божественную справедливость. Государственный переворот, вызванный внезапным прозрением, что «царь-то ненастоящий», уже не является государственным переворотом.

Понятно, что легитимного, законнорожденного монарха, происходящего от венценосных предков, объявить тираном сложнее, чем узурпатора престола, однако, как показывает европейский опыт, в той или иной форме удавалось порой накладывать узду и на него. Например, современник Ивана Грозного шведский король Эрик XIV Ваза, совершивший ряд злодейских убийств членов знаменитого аристократического рода Стуре, был в конечном счете объявлен сумасшедшим и свергнут с престола в 1568 году [Мелин и др. (2002), с. 89–91].

Здесь, правда, вновь вырисовывается неувязочка, если, конечно, мы рассматриваем данную проблему с позиций нашей современной логики. Откуда вообще берутся тираны в ситуации, когда обществом правит божественное правосудие? Почему тот или иной монарх, который, «как выяснилось», не является обычным человеческим существом, вдруг превращается в тирана? Как Бог всемогущий допускает подобное безобразие?

Иоанн Солсберийский разъясняет этот вопрос следующим образом. Мы не можем претендовать на то, чтобы разбираться в замыслах Господа. Даже если законы порочны, через них тем не менее претворяется Божья воля. Бог использует наше зло для осуществления своих благих, но не вполне понятных нам целей. Поэтому и правление тирана есть благо в самом высшем смысле данного слова, хотя для практической деятельности человека нет ничего хуже тирании. Соответственно, с практической точки зрения убийство тирана — дело не только законное, но совершенно правильное и справедливое. При этом существование тирании как явления тоже совершенно правильно и справедливо [Берман (1998), с. 268–269].

В общем, Бог — Богом, право — правом, но реально в средневековом обществе доминировали практические интересы. Если монарх сильно раздражал своих подданных, его можно было объявить тираном и свергнуть, не оспаривая тем самым божественной справедливости мироустройства. Если же, напротив, монарх имел возможность прижать своих подданных к ногтю, он соответствующим образом оформлял законы и они полностью начинали служить абсолютной власти. Скажем, современник Ивана Грозного и Эрика XIV английский король Генрих VIII Тюдор, несмотря на многочисленные совершенные им злодеяния, сумел так укрепить свою власть (в том числе посредством реформации церкви), что правил страной без особых проблем, хотя при ином политическом раскладе его явно сочли бы не вполне адекватным [Морган (2008), с. 252–270].

Э. Канторович показывал, что в том случае, когда монарху удавалось сосредоточить максимальную власть непосредственно в своих руках, правовые представления эволюционировали в нужном ему направлении. Так обстояло дело, в частности, у германских императоров. Уже к Фридриху I Барбароссе болонские юристы обращались следующим образом: «Ты, будучи живым законом, можешь давать, отменять и провозглашать законы; по твоему приговору возвышаются и низвергаются герцоги и правят короли. Ты, будучи одушевленным законом, осуществишь все, чего ни пожелаешь» [Канторович (2014), с. 213].

Еще более характерна в этой связи позиция императора Фридриха II, которому задолго до эпохи абсолютизма удалось сформировать нечто вроде абсолютистского государства [Вис (2005)]. Ссылаясь на опыт Древнего

Рима, он отмечал, что по соображениям полезности и необходимости «в одном и том же лице должны сочетаться как источник правосудия, так и его защита, чтобы у Силы не было недостатка в Справедливости, а у Справедливости — в Силе» [Канторович (2014), с. 177]. Хотя Фридрих признавал, что Цезарь является не только Отцом Правосудия, но и его почтительным Сыном, в этой юридической конструкции уже не оставалось практически никакого места для ограничения абсолютной власти государя. Политолог Роберт Патнэм, исследовавший корни современной Италии, вообще изображал подход к управлению, применявшийся императором, с помощью очень жесткой фразы: «Фридрих был сторонником мистической, полубожественной концепции роли монарха, согласно которой правление должно быть основано на страхе в сочетании с террором» [Патнэм (1996), с. 153–154].

Свержение тиранов, с одной стороны, и ранний абсолютизм Фридриха, с другой, представляли собой крайние случаи. Более характерная ситуация выражалась знаменитой юридической формулировкой, принятой в Арагоне: «подданные должны повиноваться королю только до тех пор, пока он исполняет свои обязанности, а если нет, то нет» [Берман (1998), с. 279]. Подобный принцип взаимоотношения короля и элиты отражался в таких важных документах XIII века, как «Саксонское зеркало», английская «Magna Carta» и венгерская «Золотая булла». Словом, в зависимости от соотношения сил различных групп интересов формировалась реальная политическая картина жизни общества.

Соответственно, различались и правовые оценки. Современник Фридриха II английский юрист Генри Брактон жил в ином, чем император, обществе и по-иному расставлял акценты. Э. Канторович отмечал: «если Фридрих выводил из римских правовых сводов подтверждение своих личных прерогатив, признавая при этом до определенной степени свою подчиненность естественному праву и разуму, то Брактон выводил из тех же пассажей, что король подчиняется закону страны, но в то же время признавал уникальность положения короля, так как нет юридических средств применить закон против него» [Канторович (2014), с. 235].

Более того, Г. Брактон даже утверждал, что личная воля короля — это отнюдь не его собственные волюнтаристские желания, а решение, принятое по совету магнатов и трезво осмысленное [Канторович (2014), с. 240]. Законопослушный король становится как бы викарием Господа, а значит, при принятии решений ему обязательно надо серьезно подумать, не ошибиться. Поскольку в противном случае из короля получится не викарий Господа, а примитивный тиран.

Религиозность, свойственная человеку Средневековья, утвердила в умах подданных представление о двойственной природе короля: боже-

ственной и человеческой. А дальше это представление стало эволюционировать уже применительно к земным проблемам. Король оказывался в глазах юристов, с одной стороны, феодалом, с другой — представителем фиска. То есть он мог иметь, с одной стороны, личные отношения с вассалами, а с другой — выполнять функции, которые касаются всего общества [Канторович (2014), с. 264, 271]. Постепенно представления о фиске стали носить надличностный характер. И именно в этой области появилось пространство для установления контроля над монархом. Естественно, в той лишь мере, в какой соотношение сил различных групп интересов позволяло подобный контроль осуществлять.

У французских правоведов возникла весьма экзотическая концепция, согласно которой «король, вступая в брак с королевством, получал от *res publica* в качестве приданого фискальную собственность и это приданое было неотчуждаемым» [Канторович (2014), с. 321]. Но и на этом развитие правовой мысли не остановилось. В конечном счете у английских юристов, которым требовалось как-то увязывать практические проблемы функционирования государства с исторически складывавшимися представлениями общества о фигуре монарха, сформировалась концепция двух тел короля: одного личного, другого надличностного. Публичное тело — это король вместе с королевским советом и парламентом [Канторович (2014), с. 326].

Ко временам королевы Елизаветы I история с телами приобрела полную ясность, насколько таковая вообще возможна с точки зрения логики современного рационально мыслящего человека. Как отмечалось в документах той эпохи, политическое тело короля «является телом, каковое не может быть видимо или ощущаемо в прикосновении, поскольку оно состоит из политики и правления и создано для руководства народом и поддержания общего блага; и это тело совершенно свободно от младенчества или старости и прочих природных недостатков и немощей, которым подвержено природное тело, и по этой причине то, что король совершает в своем политическом теле, не может быть лишено силы или оспорено на основании какого бы то ни было несовершенства его природного тела» [цит. по: Канторович (2014), с. 75].

Отсюда уже было рукой подать до представления революционной эпохи о возможности сопротивления народа физическому телу короля ради интересов его политического тела и даже о возможности отрубить от физического тела короля его физическую голову так, чтобы при этом не пострадало государство как таковое. Поскольку государство живет даже в том случае, если не жив монарх.

Понадобилось несколько столетий для прохождения пути от запутанных воззрений Иоанна Солсберийского до разрубания гордиева узла Оли-

вером Кромвелем. Если в начале этого пути государь, как Бог, творил закон на земле и обществу приходилось искать лазейки для свержения особо завладевшего тирана, то в конце пути общество получило возможность поступать при необходимости с монархом, как с обычным преступником. Естественно, этот сложный путь не мог бы быть пройден, если бы в Англии не сформировались за прошедшее время соответствующие условия. А в других европейских странах прохождение соответствующего пути занялось на значительно больший срок.

А царь-то ненастоящий?

Можно ли сказать, что ситуация в России коренным образом отличалась от той, которая сложилась в государствах Западной Европы? Если бы это было так, то, наверное, у нас нельзя было бы обнаружить следов соответствующей полемики ни о масштабах власти государя, ни о его праве нарушать закон, ни о том, является ли царь воплощением божественной власти на земле. Ведь споры возникают именно тогда, когда что-то неясно, и противоборствующие стороны должны использовать логические аргументы для утверждения своей позиции. Соответственно, полемика не нужна в том случае, когда все политические акторы, все соперничающие группы интересов сходятся в восприятии неких фундаментальных государственных основ.

Бесспорное отличие российской ситуации состоит в уровне развития юриспруденции. Мы не сможем обнаружить у нас аналогов тех правовых трактатов, которые писались в Западной Европе для того, чтобы переложить жизненные реалии на язык римского права. Отсутствие высокоразвитой бюргерской культуры, отсутствие хранящих ученость университетов, отсутствие традиции почитания античности и многое другое, бесспорно, оказали воздействие на те формы, в которых русские мыслители обсуждали принципиальные политические проблемы. В частности, у нас не могло быть своего Иоанна Солсберийского или Генри Брактона. Тем не менее проблемы, которые интересовали этих авторов, существовали и в Московском государстве. При отсутствии юристов обсуждать их приходилось священнослужителям как наиболее образованной части общества, устанавливающей нормы поведения для всех православных, не исключая и самого царя, а также непосредственно царю в его полемике с представителями аристократии.

Данный вопрос был подробно проанализирован в начале XX века историком Владимиром Вальденбергом, пришедшим к выводу, что «от на-

чала русской письменности и до конца XVI века нельзя найти ни одного политического учения, которое понимало бы царскую власть как абсолютную, ничем решительно не ограниченную» [Вальденберг (1916), с. 359].

Один из наиболее интересных примеров в данной области — «Просветитель» Иосифа Волоцкого, творившего на рубеже XV–XVI веков. Трудно переоценить значение этой фигуры в истории русской церкви и даже русского государства. Иосиф был не просто игуменом Волоколамского монастыря, а фактическим лидером целого интеллектуального направления, получившего по его имени наименование иосифлянства (осифлянства). «Учение Иосифа, — отмечает историк А. Алексеев, — создавало твердый фундамент для существования сильной и независимой Церкви, которая, оказывая поддержку государственной власти, должна была брать на себя решение социальных задач» [Алексеев (2010), с. 50].

Подходы, сформулированные в свое время игуменом, ни в коем случае нельзя считать случайными или маргинальными. Они, бесспорно, отражают мировоззрение значительной части московской элиты того времени. Характерно, что Иосиф не был ни принципиальным оппозиционером, ни сторонником ослабления царской власти. Напротив, он являлся одной из важнейших ее опор. И тем не менее в «Просветителе» можно обнаружить довольно жесткие места, в которых говорится о возможности неповиновения монарху.

Иосиф Волоцкий не был готов подчиняться властям светским, в частности, по вопросу о возможной экспроприации монастырских владений со стороны царя. «Молвят так, — отмечал он, — волен де государь в своих монастырях, хочет жалует, хочет грабит, ино, господине, того ни в древних царях православных, ни в наших государях русских самодержцах, ни в удельных князьях не бывало, что церкви Божии и монастыри грабить» [цит. по: Вальденберг (1916), с. 212].

Но самое главное во взглядах игумена Волоколамского монастыря — его учение о тиранах и связанные с этим представления об ограничении царской власти. Отмечая необходимость повиноваться государю, Иосиф, как констатировал известный исследователь политических идей Древней Руси Михаил Дьяконов, «счел необходимым сделать оговорку относительно царя, который над собой “имать царствующи скверныя страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши же всех неверие и хулу”. По Иосифу такой царь “не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель”. Иосиф преподает следующее правило отношений к такому мучителю: “И ты убо такового царя или князя да не слушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучить, аще смертию претит”. Таким образом, поклонение и служение царю должно

быть, по учению Иосифа, результатом критики общественных и религиозных свойств царствующего.

Только фанатизм Иосифа, — продолжал М. Дьяконов, — ввиду неблагоприятных его отношений к царствующему государю, подсказал ему такое революционное по существу учение, на основании которого можно было оправдать всякую оппозицию правительству: стоило только объявить политические меры враждебного правительства несогласными с нравственными началами и правоверием, а самого царя слугой дьявола.

Энергическая проповедь подобной доктрины могла бы повести к очень серьезным последствиям. Но политические обстоятельства изменились в благоприятном для Иосифа смысле (после смерти Ивана III. — *Д. Т.*): он нашел деятельную поддержку со стороны великого князя Василия Ивановича и с этих пор является проводником иной политической теории» [Дьяконов (2013), с. 95–96].

Итак, мы видим, что, согласно одному из авторитетнейших церковных мыслителей, православный царь не имеет полного права сам творить закон. При определенных обстоятельствах его действия могут быть сочтены ошибочными и даже преступными. Заметим сразу, что в конкретных исторических обстоятельствах Руси, серьезно отличавшихся от обстоятельств ряда западноевропейских государств, мысль о возможной несправедливости царя вряд ли могла привести к формированию эффективно функционирующего механизма сословного представительства и ограничению произвола. Скорее, речь шла о нравственном контроле со стороны церкви, обладающей моральным авторитетом в обществе. Но мы сейчас и не обсуждаем проблему представительства, которая в разных европейских странах решалась с разной степенью успеха. Мы говорим о том, как воспринимался обществом закон. Проанализированный материал не дает серьезных оснований считать, будто бы в Московском государстве нормой являлось право царя творить закон, не считаясь ни с чем и ни с кем.

Теоретически можно, правда, возразить, что нравственный контроль должен был касаться только церковных вопросов и что у иерархов не имелось оснований вторгаться в решение светских проблем, которые положительно разрешать монархам. Недаром Иосиф Волоцкий воздвиг свою теорию именно в связи с проблемой возможного изъятия собственности церкви. Однако, как справедливо отмечал выдающийся историк русского права Василий Сергеевич, «строго отделить церковные дела от светских и в наше время трудно, тогда же это было совершенно невозможно. Духовенство того времени даже и не думало о таком отделении. [...] Духовенство, проникнутое духом христианства, считало себя призванным поучать князей миролюбие, правосудию, давало советы кроткого обращения с врагами и

преступниками, вмешивалось даже в финансовую их политику, если находило в ней противоречие учениям церкви» [Сергеевич (1900), с. 506–507]. Как будет показано ниже, важнейшие столкновения монарха с иерархами имели место в связи с опричниной, устроенной Иваном Грозным, и касались не столько узко понимаемых интересов церкви, сколько общего мироустройства, в котором священникам следовало печаловаться об интересах людей, ущемляемых тираническими действиями монарха.

В случае с опричниной русская православная церковь проиграла политическую борьбу, однако в вопросе о церковной собственности одержала победу, т. е. добилась большего, чем католическая церковь в тех европейских странах, где проводилась реформация. Известный историк Александр Зимин прямо отмечал, что на церковном соборе 1503 года «иосифлянскому большинству удалось провалить секуляризационную программу Ивана III» [Зимин (1982), с. 209].

М. Дьяконов подробно писал о том, как борьба различных групп интересов обернулась в конечном счете теократическим абсолютизмом:

«Иосиф Волоцкий начинает свою политическую проповедь прибавкой к установленной догме о почитании властей революционного тезиса, на основании которого каждому предоставлялось не признавать установленную власть, если она не выдерживала критики с общественной и религиозной точек зрения. Церковно-политическая деятельность великого князя Ивана Васильевича побудила Иосифа дать заранее оправдание действиям оппозиционной партии против всех мероприятий враждебного правительства. Та же неподатливость мирских властей подклонить пастырям свои гордые выи вызвала на русской почве теории двух мечей. Когда же, с переменю обстоятельств, изменились отношения иосифлянской партии к правительству, и последнее выполнило требование иосифлян как относительно церковных имуществ, так и казни еретиков, тогда только и возникает во всей полноте теория теократического абсолютизма. Она возникла после оказанных правительством услуг и под условием исполнения им требований воинствующей партии поборников правоверия. Но у Иосифа, его сторонников и учеников в случае нужды всегда оставалась в руках серьезная сдержка к провозглашенной ими политической доктрине. Уже после собора 1504 года, защищая против нападок заволжских старцев принятые этим собором меры, Иосиф старается поставить авторитет священства выше авторитета государственной власти, не будучи уверен в ее стойкости. [...]

Таким образом высокие права и преимущества государственной власти признавались иосифлянами только под условием и до тех пор, пока правительственная политика не расходилась с их задушевными стремле-

ниями или, вернее, пока им удавалось сохранять за собой исключительное влияние на направление государственной и общественной жизни. Отсюда понятно, как важно было для этой партии обеспечить за собой руководящую роль в государственной политике. Старания ее очень рано были направлены в эту сторону. Во всех обращениях к представителю власти посланиях видные представители духовенства проводят мысль, что государи должны их слушать, а они должны их наставлять» [Дьяконов (2013), с. 129–130].

Подобным же образом суммировал взгляды Иосифа Волоцкого и В. Вальденберг. Он отмечал, что для игумена Волоколамского монастыря «царь, являясь наместником Бога на земле, принимает на себя заботу о стаде Христовом. Он имеет большие обязанности и широкие полномочия в области церкви. Со своей стороны, он должен подчиняться церковным правилам и нравственному закону. Если он исполняет свои обязанности и действует в границах нравственных требований, он есть истинный праведный царь, которому народ должен покоряться, и который несет ответственность только перед Богом. В противном случае это — несправедный царь, слуга дьявола, мучитель, которому народ не обязан повиноваться» [Вальденберг (1916), с. 219].

Таким образом, у Иосифа Волоцкого мы можем найти представления, весьма сходные с представлениями о двойственной природе государя, выраженными в писаниях Иоанна Солсберийского, а также с размышлениями Фомы Аквинского [Вальденберг (1916), с. 221]. «Царь, — отмечал он, — убо естеством подобен есть всем человеком, властью же подобен вышнему Богу». По оценке А. Алексеева, этот тезис Иосифа восходил к византийским авторам [Алексеев (2010), с. 45].

«Цари оказываются, — комментировал это положение М. Дьяконов, — не только слугами Божьими, избранными и посаженными на престол Богом; они сами боги, подобные людям только естеством, властью же уподобляющиеся самому Богу. Это уже не теория божественного происхождения царской власти, а чистое обожествление личности царя» [Дьяконов (2013), с. 99]. И в то же время подобное обожествление оставляет лазейку для объявления царя тираном.

В. Вальденберг подробно проследил развитие идей о пределах царской власти после смерти Иосифа Волоцкого и показал, что они оставались достаточно популярными в русской политической мысли. Основным проводником этой интеллектуальной линии являлся митрополит Даниил [Вальденберг (1916), с. 225].

Похожие идеи проводились и в тексте неизвестного автора, который принято кратко именовать «О свободе святых церкви» (1505 год). В целом,

по оценке В. Вальденберга, этот текст относится к иной, чем иосифлянская, интеллектуальной традиции, однако в вопросе о пределах царской власти автор текста также констатирует, что государя ограничивают, во-первых, заповеди Божьи, а во-вторых, заповеди, установленные духовной властью на земле [Вальденберг (1916), с. 237]. Таким образом, монарх обязательно должен быть праведным. В противном случае он ненастоящий царь.

Если не принять во внимание длительное развитие подобных представлений об ограничении царской власти, то трудно объяснить многие важные события отечественной истории. Неоднократно между царями и православными иерархами происходили достаточно острые столкновения. При упрощенном взгляде на историю такого рода конфликты каждый раз характеризуются как случайность, личная несовместимость характеров или борьба за контроль над имуществом церкви. Однако думается, что иерархи вставали в оппозицию монархам все же не по частным моментам, а в связи с осознанием своих прав на духовный контроль над мирской властью, не соблюдающей заповедей.

Один из первых значимых случаев конфликта иерархов и монархов — столкновение митрополита Геронтия с Иваном III. Иерарх в 1481 году покинул вдруг свой «пост» и скрылся в Симоновом монастыре. Монарх вынужден был лично явиться к Геронтию и «сам во всем виноват сътвориться, а митрополита же во всех речах обещаая слушати» [Борисов (1986), с. 173]. Позже имела место полемика новгородского архиепископа Геннадия с Иваном III относительно возможного изъятия государем церковных имуществ. Как отмечал известный историк Руслан Скрынников, «Геннадий, переживший катастрофу 1499 года (конфискация монастырской собственности в Новгороде. — *Д. Т.*), призвал иерархов не подчиняться государю. Он не побоялся вступить в пререкания с монархом и столь резко возражал ему, что тот прервал его речи бранью: “многим лаением уста ему загради, веды его страсть сребролюбную”» [Скрынников (1990), с. 129].

Спустя шестьдесят лет конфликт церкви с Иваном Грозным был вызван уже не имущественным спором, а принципиально разными взглядами на опричнину. Сначала митрополит Афанасий покинул свой пост и удалился в монастырь, «очевидно добиваясь устранения опричных порядков». Затем архиепископ казанский Герман Полев «претил самодержцу страшным судом, “тихими и кроткими словесы его наказующе”» [Скрынников (1990), с. 210–211]. И, наконец, новый митрополит Филипп Колычев столкнулся с нарушавшим христианские заповеди царем уже напрямую, не используя ни отставки, ни кротких словес.

Как отмечал Р. Скрынников, «Колычев мог рассчитывать на поддержку иосифлянского большинства собора. Негодование земского духовенства по

поводу безобразий опричнины было неподдельным и искренним. Но единокоренные собора оказались непрочным» [Скрынников (1990), с. 217]. Тогда Филипп публично в Успенском соборе отказался благословить царя и стал обличать беззакония опричнины. «Колычеву, — писал Р. Скрынников, — и в голову не приходило возражать против представлений о царе как хранителе и вместилище веры и благодати, носителя вероучительной власти. Но в глазах Филиппа монарх не может стать выше правды: он сам подчинен “правилу доброго закона”, то есть правде нравственной и религиозной» [Скрынников (1990), с. 221].

Наконец, еще через столетие между царем и патриархом вновь произошел острый конфликт. Важнейшим событием в истории XVII века была деятельность патриарха Никона, стремившегося подчинить себе Алексея Михайловича, но проигравшего в конечном счете свою политическую игру, как проиграли ранее Геннадий, Афанасий, Герман и Филипп. Патриарх до своей опалы выглядел столь самостоятельной фигурой, что не удивляет брошенное ему политическим противником обвинение, что он, мол, говорил: «на царскую власть плюю и сморкаю» [Карташев (1992), с. 144]. Никон не стремился ограничивать государственную власть институционально, но вряд ли мог бы руководить ею, если бы царь не верил в фундаментальное значение духовной власти.

Похоже, что несколько дальше традиционной линии, ограничивающей государя необходимостью прислушиваться к духовным пастырям, готов был пойти Максим Грек. Он, в частности, проводил сопоставления не только со Святым писанием, но с современным зарубежным опытом. Грек указывал на то, что вся общественная жизнь у западных народов нормируется градскими законами [Вальденберг (1916), с. 261]. По-видимому, автор имел в виду юридические нормы, определявшие порядок функционирования многих европейских городов (магдебургское право, любекское право и т. д.). Однако, насколько можно судить, подобный подход в русской политической мысли оставался сравнительно маргинальным (недаром Максим Грек долгие годы провел в монастырском заточении). Влиятельные авторы предпочитали говорить только о роли духовных властей в качестве ограничителя, а вовсе не об устанавливаемых законом правовых нормах. И это вполне понятно. При слабости, маргинальности русских городов, плохо связанных торговыми узами с Западом, а главное — не имевших солидных денежных ресурсов, лежавших в основе самостоятельности итальянских и германских ремесленно-купеческих центров, о чем подробно говорилось в нашем втором докладе [Травин (2013), с. 31–37], идея о «градских законах» вряд ли могла быть всерьез востребована. Церковная иерархия, исходя из своего реального положения на Руси, могла тем или иным образом

влиять на политику, тогда как бюргерство в европейском смысле этого слова вообще в нашей стране не сложилось.

Что касается магистральной линии в вопросе об ограничении власти царя, то она проводилась даже в знаменитом «Стоглаве» — тексте, сформированном по результатам работы Собора 1551 года. Как отмечал В. Вальденберг, «царь подчиняется церковным правилам и советам церковного собора не только в вопросах веры, но и в вопросах чисто светского характера» [Вальденберг (1916), с. 287]. И здесь мы подходим к самому интересному вопросу из данной области.

«Стоглав» — документ из эпохи юного Ивана Васильевича Грозного. Царь, проявлявший в начале своего правления склонность обращать внимание на ограничители власти (он, в частности, прислушивался к мнению таких влиятельных людей, как Алексей Адашев и поп Сильвестр), к концу правления стал известен своей жестокостью и волонтаризмом. Как можно истолковать данное противоречие? Для этого, по всей видимости, следует обратиться к полемике, которую вел непосредственно сам Иван IV.

Явным следом такого рода полемики является переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. С какой стати государь, который вроде бы должен быть значительно выше любого своего подданного, тратит столько времени и сил на то, чтобы растолковать свою позицию какому-то национал-предателю? Ведь князь Курбский перебежал на сторону противника и в этом смысле, казалось бы, меньше достоин внимания царя, чем любой его верный приближенный. Однако Иван Грозный пишет своему оппоненту письма. Злится, ругается, грозит карами земными и небесными, но все же пишет, пытаясь растолковать собственную позицию. Думается, это явно свидетельствует о том, что князь был не просто изменником, а своеобразным диссидентом, представителем иной точки зрения. И более того, взгляды Курбского Иван Грозный признавал достаточно распространенными в элите, чтобы с ними вступить в словесный бой. Судя по качественно выстроенной аргументации, Иван Васильевич долго размышлял над встававшими перед ним проблемами, и письма к Курбскому стали результатом не случайного проявления эмоций, а итогом долгого осмысления разных подходов к проблеме власти, существовавших в Московском государстве.

Вот одно из самых знаменитых мест в аргументации Ивана Грозного: «А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. А русские самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи. А ты этого в своей злобе не смог понять. Считаю благочестием, когда самодержавие находится под властью известного попа и под вашим

злодейским повелением. А это, по-твоему, нечестие, когда мы сами обладаем властью, данной нам от Бога, и не хотим быть под властью попа и вашим злодейским повелением» [Иван Грозный (2000), с. 40].

На первый взгляд кажется, что здесь констатировано принципиальное различие между двумя формами правления: российской и той, которая принята в Западной Европе (у «безбожных народов»). Однако это ведь не объективная констатация положения дел, а лишь интерпретация одной из сторон спора. Что же касается самого спора, то мы четко видим в нем две стороны: одна стоит на позициях самодержавия, считая его идущим от Бога, тогда как другая полагает такое положение дел нечестием. Тот сравнительно краткий в истории российского самодержавия период, когда власть царя была ограничена (попом Сильвестром и теми светскими силами, которые, по оценке Грозного, теперь представлял Курбский), рассматривается самим Иваном IV не как историческая случайность, а в качестве важного прецедента, достойного обсуждения.

Иван тщательно подбирает примеры из Библии, которые, с его точки зрения, доказывают собственную правоту. Идет вполне рациональный спор, в котором, естественно, аргументы подбираются не по нашим нынешним научным стандартам, а в духе религиозного XVI века, когда высшим авторитетом было Священное Писание. В частности, царь отмечает, что Бог, избавивший евреев от рабства, поставил управлять ими единого царя — Моисея, а вовсе не священников и не многих управителей [Иван Грозный (2000), с. 44–49].

Второй подход к аргументации — логический. Священник, например, не может править, поскольку ему положено подставлять другую щеку, если его бьют по одной. А царь может сдачи дать [Иван Грозный (2000), с. 53]. Следовательно, кто должен править? Такая вот получается политология эпохи самодержавия.

Наконец, чтобы окончательно убедить противника (а может, самого себя?) в собственной правоте, Иван Васильевич вспоминает о том, как притесняли его бояре в детстве. Таким образом, теоретическая аргументация сменяется принципом «око за око, зуб за зуб». Самодержавие оказывается, скорее, формой борьбы групп интересов, чем формой правления, установленной Господом. Причем, судя по тексту письма, Грозный пребывает в уверенности, что среди князей и бояр было довольно много таких, кто хотел бы ограничить власть государя, либо даже вообще не предоставлять ему возможности реального правления. Царь вполне допускает, что если бы победили противники самодержавия, то государство управлялось бы по-другому, хотя исход такого правления, конечно, был бы, с точки зрения Грозного, трагическим для страны и для православия.

Из послания Курбскому часто любят приводить следующую фразу: «Мы же вольны награждать своих холопов, вольны и казнить» [Иван Грозный (2000), с. 57]. На первый взгляд, она свидетельствует о полной уверенности Грозного в том, что он стоит над законом. Однако заканчивается первое послание Ивана Васильевича князю Курбскому весьма характерной фразой: «Ничем я не горжусь и не хвастаюсь, и нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой царский долг и никого не считаю выше себя» [Иван Грозный (2000), с. 91]. Царь не напирал на свою исключительность, не стремился подчеркнуть, будто он один творит закон и может, следовательно, поступать с людьми так, как захочет его левая нога. Он основывался на принципе справедливости. И хотя, скорее всего, в данном случае он кривит душой, важно иное. Иван Васильевич так составляет текст, чтобы любой читатель, а не только князь Курбский, счел сказанное справедливым. По всей видимости, если бы было сказано, будто царь стоит над законом, современники такой амбициозности не поняли бы.

Вполне возможно, что опричнина, как самое главное «беззаконие» Ивана Грозного, стала следствием именно того, что царь в Московском государстве традиционно сталкивался с ограничителями своей власти и не мог их преодолеть, не разрубив своеобразного политического гордиева узла. Он должен был сформировать совершенно иную, нетрадиционную политическую реальность для того, чтобы наконец получить возможность казнить и миловать холопов по своему собственному самодержавному усмотрению.

Вот что пишет об этом современный биограф Ивана Грозного, историк Борис Флоря: «Зная все происходившее в предшествующие годы, можно с уверенностью утверждать, что царя не устраивало традиционное право членов Боярской думы и высших церковных иерархов “печаловаться” за вельмож, совершивших те или иные проступки, с которым в предшествовавшие годы ему приходилось считаться. Царь ставил перед обществом дилемму: или он получит право наказывать изменников по своему смотрению, или государство будет не в состоянии успешно вести борьбу с внешними врагами по вине светской и церковной знати. Тем самым правящая элита оказывалась в таком положении, что ей ничего не оставалось, как согласиться с требованиями царя» [Флоря (2009), с. 194–195].

Если мы не определяем опричнину как следствие вынужденной борьбы Ивана Грозного с существующими в обществе механизмами ограничения его власти, то вряд ли вообще сможем объяснить странные действия царя чем-то иным, кроме психического расстройства. Странности, конечно, у Грозного были, однако при этом государь действовал хотя и экстравагантно, но четко, логично, эффективно. В ходе жесткой политической

борьбы Иван Грозный смог сосредоточить в своих руках максимальную власть. Усиление его самодержавных позиций стало следствием конкретных исторических обстоятельств и не свидетельствует об особом (патримониальном или вотчинном) характере российского государства.

Современные авторы А. Ахиезер, И. Клямкин и И. Яковенко отмечали, что «прецедент с опричниной тем-то и показателен, что он продемонстрировал слабость институциональных, а главное культурных ограничителей самодержавного произвола в послемонгольской Руси» [Ахиезер и др. (2005), с. 150]. Этот вывод, бесспорно, верен. Однако при оценке отечественной истории необходимо принимать во внимание слабость подобных ограничителей во многих других европейских странах и, самое главное, условность самого понятия об ограничении власти монарха в XVI веке и ранее.

Выше мы отмечали, что, например, Фридрих II Гогенштауфен, сумевший построить своеобразный абсолютистский режим задолго до наступления эпохи абсолютизма, в своей трактовке императорской власти пошел существенно дальше, чем Иоанн Солсберийский, писавший свой труд для других обстоятельств. Так и Иван Грозный. В своих практических представлениях о возможностях казнить и миловать он приближался к Фридриху II. Оба этих государя, сильно несхожих характерами, больше напоминают друг друга по объему располагаемой власти, чем тех средневековых королей, которым приходилось соразмерять свои амбиции с мнением сословий, выражавшимся через парламенты. В этой связи интересно обратить внимание на подход профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаила Крома, отмечавшего типологическое стадийное сходство Франции XIII века с Русью XVI столетия [Кром (2010), с. 166–167]. Только в нашем случае сходство просматривается не с Францией, а с южной Италией.

После смерти Ивана Грозного у представителей московской элиты вновь появилась возможность противопоставить позиции российских самодержцев свое представление о том, что власть царя должна быть в известной степени ограничена. Несколько курьезное, однако ярко отражающее настроение общества представление на сей счет было у автора XVII века Григория Котошихина. Он полагал, что после смерти Грозного у царей каждый раз брали письменные обязательства, «что им быть нежестокими и непальчивыми, без суда и вины никого не казнить» и «мыслити о всяких делах з бояры и з думными людьми сопча». Не взяли письменных обязательств лишь у Алексея Михайловича, «потому что разумели его гораздо тихим» [цит. по: Вальденберг (1916), с. 371].

Но если говорить всерьез, то весьма показательна ситуация, сложившаяся в Смутное время. Характерна в этой связи присяга, данная царем

Василием Шуйским: «У гостей и у торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отнимать, будет с ними они в той вине невинны» [цит. по: Покровский (2010), с. 97]. Вряд ли подобные обязательства со стороны царя могли бы появиться, если бы в обществе не существовало традиционного представления, согласно которому царь не стоит над законом и не творит его по одной лишь своей прихоти. Отнимать лавки и животы у невинных — это не по-христиански. Так поступать может лишь тиран, а Василий Шуйский таковым считаться не хотел.

Совершенно справедливо пишет известный историк Александр Янов еще об одном факте Смутного времени: об «отточенной до последней детали конституции Михаила Салтыкова. [...] Основные пункты этой конституции (так, “основным законом конституционной монархии”, называл Ключевский договор, заключенный российской делегацией, возглавляемой Салтыковым, с польским королем Сигизмундом 4 февраля 1610 года) практически полностью совпали с нестяжательскими идеями времен Грозного. Судите сами. “Земскому собору договор усвоил учредительную власть. Ему же принадлежал и законодательный почин... без согласия Думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах... Думе принадлежит и высшая судебная власть... Каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущества за то отнимать не будет”. Совершенно же очевидно, что такие документы не рождаются на пустом месте» [Янов (2008), с. 492–493].

Впрочем, быть может, по завершении Смутного времени в России установился режим, который окончательно выкорчевал из сознания элит представление о каких бы то ни было формах ограничения монархической власти? Однако 120 лет спустя после конституции Салтыкова тщанием Дмитрия Голицына и группы так называемых «верховников» появляется документ, который вновь воспроизводит попытку ограничения монаршей власти. На этот раз в отношении императрицы Анны Иоанновны. Согласно этому проекту, целый комплекс мер, включая ведение войны, заключение мира, обложение податями, возведение в чины, пожалование вотчин и деревень, отъем имущества и жизни, осуществление государственных расходов и т. д. и т. п., мог осуществляться лишь с согласия Верховного тайного совета [Гордин (1994), с. 160–161].

Словом, представление о том, что русский царь всегда стоит над законом, если и утвердилось у нас, то лишь среди части общества. Совершение беззаконий, в том числе экспроприация имущества, в отечественной элите в основном воспринималось негативно, так же как и в элитах других стран.

И, соответственно, постоянно предпринимались попытки в той или иной форме потребовать от монарха, чтобы он не становился тираном. Сам же монарх, как правило, стремился соответствовать ожиданиям общества, не допуская излишних конфликтов. Этим определяется длительное существование у нас такого важного института, как Боярская дума. В. Ключевский писал свой выдающийся труд о ней с выраженной во вступлении мыслью о том, что Боярская дума «является конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии» [Ключевский (1902), с. 5].

Иными словами, во времена, далекие от наших представлений о разделении властей, общество предполагало существование ограничителей произвола монарха, хотя и не прибегало к юридическому оформлению данного положения. Бояре советовали, как править, иерархи печаловались об обиженных, а царь принимал это во внимание. До тех пор, пока исторические обстоятельства не позволяли ему вырваться из заданных обществом рамок и выстроить абсолютистскую систему.

Значение прецедентного права

В завершение нам следует проанализировать, как, когда и почему в различных европейских странах стало формироваться современное представление о праве. Иными словами, как, когда и почему началась модернизация традиционных подходов к вопросу об ограничении власти государя.

Как говорилось выше, в европейской истории в целом, как и в истории нашей страны в частности, у монархов имелись богатые возможности нарушать права собственности. Это их право получало в европейской практике своеобразную легитимацию со времен Средневековья, поскольку руками монарха так или иначе осуществлялась божественная справедливость. Нигде, в том числе в России, «властители дум» не склонны были позволять королям, царям, императорам творить то, что пожелает их левая нога, и для этого разрабатывали теорию о тирании. Однако реальная возможность объявить неугодного правителя тираном определялась соотношением сил различных групп интересов.

Существование институтов сословного представительства не могло качественным образом изменить ситуацию в лучшую сторону. А формирование абсолютистских государств лишь облегчило задачу экспроприации. В этом смысле не является внезапным отклонением от правовой идиллии ни нацистское огосударствление значительной части экономики, ни ариизация еврейских предприятий. Германская культура точно так же не пре-

пятствовала совершению отдельных злоупотреблений и даже откровенных преступлений, как, скажем, культура российская. Причем подобное положение дел было характерно вплоть до середины XX века.

Тем не менее, поскольку экономическое «великое расхождение» между Востоком и Западом началось в XVIII столетии в Англии, то справедливо будет в первую очередь обратить внимание на изменения, которые могли осуществиться именно в это время в этой стране. Американский исследователь Джек Голдстоун — представитель так называемой калифорнийской исторической школы — проанализировал данный вопрос и показал, как английская система прецедентного права, качественно отличающаяся от принятой на континенте системы римского права, смогла обеспечить позитивные перемены и стимулировать промышленную революцию после того, как в Англии произошли важные политические изменения.

По мнению Д. Голдстоуна, вводимое сверху римское право не защищало человека и его собственность. Этот интересный подход противоречит традиционному и весьма распространенному у нас представлению, будто бы основной российской проблемой является отсутствие античного культурного наследия [Васильев (2007), с. 245–249, 260–261, 328]. По мнению Д. Голдстоуна, римское право «долгое время искажалось правителями для получения безраздельной власти над своими подданными. Что бы то ни было, идущее на благо королевства, могло быть при римском праве оправданным и принятым к исполнению. Большинство европейских правителей, в особенности после кризисов XVII в., стали использовать принципы римского права для построения более сильной бюрократии, увеличения контроля над подданными и их ресурсами, а также создания нового бюрократического абсолютизма, который передавал больше власти непосредственно в руки верховного правителя» [Голдстоун (2014), с. 194].

Совсем по-другому обстоит дело с традиционно существовавшей в Европе и лучше всего сохранившейся в Англии системой прецедентного права, когда суд основывается не столько на спускаемых сверху правилах, сколько на имеющемся местном опыте решения аналогичных дел. Естественно, система прецедентного права вряд ли может рассматриваться в качестве панацеи, обеспечивающей во всех случаях справедливый судебный исход. Такой панацеи, скорее всего, вообще не может быть. Английская судебная практика оказалась успешной в совершенно ином смысле: не в плане достижения справедливости, а в плане обеспечения стабильно-го долговременного экономического роста.

Континентальные государства с помощью римского права и бюрократического аппарата могли навязывать суду свои решения. В Англии же ключевое значение при рассмотрении правовых вопросов должны были

иметь, скорее, те, кто обладал серьезным авторитетом на местах. Как в смысле неформального давления на суд, так и в смысле значения для развития региона, для создания в нем рабочих мест, оказания спонсорской поддержки, обеспечения взаимопомощи. Решения, принимавшиеся судом в Англии, могли быть несправедливыми, однако перекося при принятии таких решений получался, скорее всего, не в пользу государства, склонного давить бизнес, а в пользу самого местного бизнеса. А ведь правовые гарантии для бизнеса — это как раз то, что в значительной мере обеспечило развитие экономики и в конечном счете определило великое расхождение Европы со всем остальным миром.

Впрочем, если полагать, будто Англия всегда отличалась от континента доминированием прецедентного права, трудно понять, почему эта страна добилась серьезных экономических успехов лишь в XVIII веке. Но, как справедливо отмечает Д. Голдстоун, английская монархия долгое время пыталась наряду с монархиями других стран Европы навязывать иные правовые подходы. О том, как цинично нарушали права Тюдоры (в частности, Генрих VIII), речь уже шла выше. Но и при Стюартах проблема оставалась актуальной. «В XVII столетии, — отмечал Д. Голдстоун, — английские короли из династии Стюартов, не желая терпеть ограничений со стороны общего права, использовали особый королевский суд, известный как Звездная палата, чтобы судить оппонентов правительства. Дела в Звездной палате решались тайно и по воле короля. Одним из пунктов, за который сражались и который удалось отстоять в ходе британских гражданских войн XVII века, было упразднение Звездной палаты и восстановление верховенства общего права» [Голдстоун (2014), с. 194].

Таким образом, слабость английской монархии, ее неспособность противостоять революции обусловили то, что именно в Британии система судопроизводства к XVIII столетию не смогла трансформироваться по единому европейскому образцу. Нельзя сказать, что революция была прогрессивна и несла на своих штыках новый капиталистический строй. Но ее своеобразным побочным продуктом стали ослабление абсолютистского давления и возврат к прецедентному праву, что оказалось очень полезно для развития предпринимательства и для закрепления в обществе достижений промышленной революции. Впоследствии важность суда, который не поддается давлению свыше, была воспринята другими европейскими государствами, поскольку успешный британский опыт привлек внимание к тем институтам, которые сложились на острове. Характерные ныне для Европы гарантии прав собственности стали следствием английской модернизации и последовавшего за ней всеобщего стремления перенять прогрессивный опыт успешного соседа.

Разные страны перенимали этот опыт в разное время и при различных условиях. Россия, как периферийная европейская страна, в которой стремящиеся к модернизации группы интересов пока еще очень слабы, плохо воспринимает прогрессивный опыт. Однако, как показывает проведенный выше анализ, в России не было принципиально иного представления о соотношении власти и закона, чем у ее западных соседей.

Литература

Алексеев А. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–1510-х гг. СПб.: Российская национальная библиотека, 2010.

Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.: Новое издательство, 2005.

Берман Г. Западноевропейская традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во Московского университета; ИНФРА-М-Норма, 1998.

Борисов Н. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М.: Изд-во Московского университета, 1986.

Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. СПб.: Типография А. Бенке, 1916.

Васильев Л. Всеобщая история. Т. 2. Восток и Запад в Средние века. М.: Высшая школа, 2007.

Вис Э. Фридрих II Гогенштауфен. М.: АСТ; Транзиткнига, 2005.

Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009.

Голдстоун Д. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во института Гайдара, 2014.

Гордин Я. Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 года. СПб.: Лениздат, 1994.

Дьяконов М. Власть московских государей. Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. М.: ЛИБРОКОМ, 2013.

Зимин А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (очерки социально-политической истории). М.: Мысль, 1982.

Иван Грозный. Сочинения. СПб.: Азбука, 2000.

Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Изд-во института Гайдара, 2014.

Карташев А. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М.: Терра, 1992.

Ключевский В. Боярская дума древней Руси. М.: Синодальная типография, 1902.

Ключевский В. Курс русской истории // Ключевский В. Сочинения в 9 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1987.

Кром М. «Вдовствующее царство»: политический кризис в России 30-х — 40-х годов XVI века. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс, 1992.

Мелин Я., Юханссон А., Хеденборг С. История Швеции. М.: Весь мир, 2002.

Морган К., ред. История Великобритании. М.: Весь мир, 2008.

Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Захаров, 2004.

Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической культуры. М.: Новое издательство, 2008.

Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem, 1996.

Покровский М. Очерк истории русской культуры. Экономический строй: от первобытного хозяйства до промышленного капитализма. Государственный строй: развитие права и учреждений. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.

Сергеевич В. Русские юридические древности. Т. 2. Вече и князь. Советники князя. СПб.: Типография Стасюлевича, 1900.

Скрынников Р. Святители и власти. Л.: Лениздат, 1990.

Смирнов А. Коммуна средневековой Франции в связи с политическим ростом третьего сословия. М.: ЛИБРОКОМ, 2012.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне // Препринт М-19/10. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2010.

Травин Д. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад второй) // Препринт М-31/13. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2013.

Тьерри О. Городские коммуны во Франции в Средние века. М.: ЛИБРОКОМ, 2011.

Флоря Б. Иван Грозный. М.: Молодая гвардия, 2009.

Янов А. Россия и Европа. 1462–1921. Книга первая. Европейское столетие России. 1480–1560. М.: Новый хронограф, 2008.

Дмитрий Травин

У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад третий)

Препринт М-38/14

В авторской редакции

Корректор — Д. М. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3А
books@eu.spb.ru

Подписано в печать 03.05.14
Формат 60x88 1/16. Тираж 50 экз.



Центр исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге

Центр создан в августе 2008 года в целях развития междисциплинарных сравнительных социальных, экономических и политических исследований. Задачами М-Центра являются реализация научно-исследовательских программ и проектов по направлениям его работы, создание и поддержание интенсивной и эффективной коммуникативной научной среды, содействие подготовке и повышению квалификации молодых ученых, подготовка и распространение научно-исследовательских и экспертных публикаций, ориентированных на научное сообщество и на широкую общественность. В составе М-Центра работают специалисты, участвовавшие в подготовке книг:

Травин Д., Маргания О. **ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ**,
в 2 кн. М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2004.

Маргания О.Л., ред., **СССР ПОСЛЕ РАСПАДА**.
СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.

Добронравин Н., Маргания О., ред., **НЕФТЬ, ГАЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**.
СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008.

Gel'man V., Marganiya O., eds, **RESOURCE CURSE AND POST-SOVIET EURASIA:**
Oil, Gas, and Modernization. Lanham, MD: Lexington Books, 2010.

Гельман В., Маргания О., ред.,
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ: ТРАЕКТОРИИ, РАЗВИЛКИ, ТУПИКИ.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

Травин Д., Маргания О.
МОДЕРНИЗАЦИЯ: ОТ ЕЛИЗАВЕТЫ ТЮДОР ДО ЕГОРА ГАЙДАРА.
М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2011.

Гельман В. **ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ СССР**.
СПб.: БХВ-Петербург, 2013.

Добронравин Н. **МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОЧИНЕ: ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**. СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Президент М-Центра — кандидат экономических наук **О.Л. Маргания**
Научный руководитель М-Центра — кандидат экономических наук **Д.Я. Травин**
Исполнительный директор — кандидат политических наук **В.Я. Гельман**